

На Масленой неделе решили собрать мальчишник. Собралось пятеро в дому у Юрия Григорьевича, были: Алексей Иванович, Анатолий Семёнович, Борис Анатольевич и Валерий Анатольевич — родные братья — и сам хозяин, из них младшему 61 год, двое вдовцов. Прочитали молитву и мясопустную обязанность соблюли, вино, правда, пили. А что же делать? Ещё мой дедушка говорил: “Казак без вина, что пуля без пороха или шашечка заржавленная под стрехою”.

Сначала помянули родителей, потом умерших жен. Вино домашнее из вызревшего, почти перед морозами собранного каберне. Необыкновенное вино, сладкое, терпкое, густое, стакан с ним на солнце наведёшь — солнце гаснет. Делалось вино с нежностью, молитвами, перед ним не курили, матов не произносили, даже нехорошим словом не вспоминали никого, словно готовились к причастию, потому оно и понеслось — доброе, смелое, хоть и совсем младенческое. В ноги вино ударило скоро — и по литру выпить не успели. Кушали еду простую, домашнюю, всё со двора и от природных сборов. Перед встречей купили небольшого сома, пойманного в Казачьем ерике, ещё живого, килограмм на пять. Его пожарили, и выглядел он красивее индейки, на вкус — и того лучше. Соседка Светлана, она и перед смертью жены Юрия часто бывала в их дому, знала, что соберутся одни хлопцы, потому на-

---

*МАЙКОВ Геннадий Григорьевич родился в 1947 году в г. Черкесске. Окончил Харьковский политехнический институт и Кубанский государственный университет. Работал в Институте радиофизики и электроники АН УССР, главой администрации Тамани, в 2008 году избран членом-корреспондентом МАНЕБ по секции “Духовное возрождение”. Публиковался в журналах “Родная Кубань”, “Всерусский Собор” и в “Сборнике русского исторического общества”. Живёт в Тамани.*

жарила им блинов. У Светланы муж умер ещё три года тому назад, как раз на голодную кутью. Она была благодарна соседу за то, что уже второй год он ранним утром, опережая баб, стучал к ней в дом и приносил пучочек прошлогодних трав и миску крещенской воды. Эти травы он приносил из церкви на Троицу, собирал их с пола понемногу сразу после чтения Евангелия. Дома он закладывал их за икону Святого Георгия, а крещенская вода стояла там же, в красном углу, по многу лет в стеклянной двадцатилитровой бутылке, доставшейся ещё от маменьки с довоенной поры. Как она сохранилась? Просто удивительно, может, крещенской водой и сохранилась. Каждый год эту бутылку крещенской водой и пополняли. Она была высокой, стройной, с вытянутым горлышком, будто и сама перед иконами стояла и молилась. Светлана благодарила Юрия Григорьевича за то, что крошил он букетом трав и святой водичкой на голодную кутью всё в её дому: двери, окошки, старый шкаф и сундук, трапезный стол, старую швейную машинку, даже кирпичи во дворе, из которых её муж Митя хотел построить маленький сарай. Она так жалела, что не успел он это выправить, и окошко к нему уже было, и дверь заготовлена. Замечательно, что приходил в это утро Юрий Григорьевич и впрямь до рассвета. Опережал он и её кумушек, и соседских баб, и случайных женщин, которые брели на ранний базар. А то ведь как? По месяцам никого не бывало у неё, а на голодную кутью обязательно кто-то из девок, даже ранее и вовсе не приходящих, притащится. А пришедшая в дом первая на голодную кутья женщина — к беде, ну, если не к беде, то обязательно к какой-нибудь печали. А Григорьевич выручал её в этот день.

Вот за всё это, да и не только за это, Светлана наготовила мужчинам блинов. Ей приятно было соблюсти давние традиции земли, которые повелись до неё и до родителей, да и до прадедов. Блинами на мясопустной неделе обязательно нужно угощать соседей и добрых людей. К блинам на столе у них была домашняя сметана, керченская селедка, свежее, с жару топлёное масло и малосольная хамса. Топлёное масло, если оно домашнее и из него выгнана лишняя влага, да ещё разгорячённое во рту вместе с блином, создаёт вкус необыкновенный, так что вспоминается детство, родители, братья и сестры, вся семья, которая когда-то садилась за общий стол на Масленицу. А керченская селедка как хороша к блинам! Ещё и в эту пору она была жирнучая, такая, что и за три дня не усолится, если её, рано пойманную утром, ещё в нежной зелёной камке принести с базара, обмыть морской водой и сразу в соль и под гнёт её положить. Лучше любого масла и конфет такая селедка на третий день после засолки. К домашней сметане нашёлся и рассказ.

Заговорили о Титаровской свадьбе. Титаровка — это соседняя станица. Лучше всех эту байку мог пересказать Григорьевич.

“Люди говорили, что раз в станице была свадьба, у Кириченко Василия, они живут по Первомайской. Сами знаете, что в Титаровке огороды по три-пять гектар (это явное преувеличение, но чего не скажешь в хорошей байке!). Говорят, что на свадьбе не было Марковны, что замужем за Николаем Петренко. Свадьба шла уже пятый день, а она всё никого не видела из гуляющих на ней. В среду Марковна перед базаром долго караулила кого-нибудь с той свадьбы. Наконец, она увидела Алексеевну, дальнюю родственницу Кириченко по его жене Татьяне. Марковна сразу быка за рога:

— А ну, скажите мне, Алексеевна, вы были на свадьбе у Кириченко? — спросила она хлёстко, хоть и знала наперечёт всех титаровцев, которые были на свадьбе, и знала, что была там и Алексеевна, а самих станичников было там в первый день четыреста семьдесят две души. Было бы четыреста семьдесят четыре, но две дальние родственницы по кумовской линии жены Кириченко обиделись, что их пригласили на свадьбу после кумовских родственников по линии невесты, и не пришли. Алексеевна, чтобы раздосадовать Марковну, с радостью объявила:

— Ой, Марковна, были у нас в Титаровке свадьбы, всякие были, а такой ещё не было. Представьте, на весь огород поставили столы, еле их набрали с достатком, и в стройцехе взяли, и в отделениях, и по домам ходили. К нашим титаровским понаехало родственников, знакомых, от детей Кириченко тоже, может даже больше, чем местных, коренных. Сын Кириченко

и его невеста учились где-то в университетах. Столы позакрывали скатертями белыми, специально для этого купили одинаковые. Красивые такие скатерти, аж в глазах от той белизны и глажки на солнце слёзы выступили. Мать невесты так и пряталась со своими слезами за эту белизну. Старый Кириченко сильно выхвалялся: оркестр нанял не наш, а привёз откуда-то издалека, ребята все рослые, красивые, в мундирах красных, как у Попандопуло галифе, на костюмах нашиты аксельбанты, погоны и лампасы широкие, тоже красные. Дудки все начищены, на солнце блестят, как глаза у мухи. А играли они точно лучше, чем наши, может быть, только в Краснодаре та в столице так умеют играть. После загса поехали на памятники, фотографировались и у нас, и по району с шиком, на всех газах. Машин было, ну, наверное, штук сто с хвостиком. Потом приехали, и все сели в огороде за столы, над столами шатры накрыты, и не просто каким-то там брезентом или, как у татар, плёнкой, а коврами. Где тот Кириченко их столько нашёл — и неведомо.

— Ну, а что хоть ели? — перебила Марковна с умыслом похвальбу Алексеевны, которая какая-никакая, а родня была семьи Кириченко и потому так выхвалялась, да ещё чтобы Марковне насолить послаше.

— Что было, спрашиваете, Марковна? Да всё было! Про закуски вам даже и рассказывать не буду. Сначала про выпивку. Чего там только не было! Все коньяки — и наши, и забугорные, — потом виски, ну, это как наша крашенная горилка, водка была и казённая, и со спирту сделанная. А вина со всех заводов на Тамани, даже с Курчанской что-то приволокли. Домашнее вино тоже было и белое, и красное. А вы бы видели, как подавали птицу? Вся была птица, какую вы знаете и не знаете, даже дичь была всякая — и варёная, и жареная, и копчёная, и на пару́, и в костре запечённая. Были страусы, я их видела живых в Голубицкой, когда со сватами специально ездили на лотосы смотреть и на страусов. Их на свадьбу готовили на вертелех и на костре, а разносили на носилках. Вы бы такое видели: их несут, а головы и ноги свисают с носилок на обе стороны. Мясо тоже было всякое: и кабаны были дикие, я их не ела, а то знаю, что от этого мяса можно и умереть, сначала заболешь от сальмонеллы, а потом и коньки отбросишь. И телочек молоденьких забили, и бугай здоровенный был. И тоже было оно всё варёное, парное, копчёное. А рыбы! Марковна, ну, это даже и не пересказать: и наша лиманная, и черноморская, и азовская, и кубанская, и с океанов была куплена в Краснодаре. Ну, конечно же, и подрались на свадьбе. Сначала нашим хлопцам дали, потом наши чужим, потом пили мировую, весело было. А ещё, Марковна...

Марковна не дала разгуляться Алексеевне и дальше в своих присказках, перебила её сурово и лукаво:

— А скажите, Алексеевна, была ли у их на столах домашняя сметана? — сказала так, что Алексеевна опешила, несколько времени не смогла проронить не слова, а потом выпалила:

— Точно, Марковна, домашней сметаны не было, — и дальше уже с удовольствием: — Дерьмо, а не свадьба!

Все засмеялись, хоть и слышали эту байку не раз.

— А вот скажите, братцы, и впрямь в городе такую сметану уже не покушать, — выронил после улыбок самый старший — Алексей. Он сам часто называл себя Божьим человеком, ибо так по святым назвала его мама Наталья Гавриловна. Благодарен был этому имени и считал, что имя его не раз спасало в бедах да несчастьях.

— Так откуда они такую сметану возьмут, — поддержал его Борис, — ведь деревенские люди тоже испортились: хорошую сметану в город на продажу не повезут. Это не так теперь, как было раньше.

Немного помолчали, даже погрустнели чуть-чуть.

— А вы сами возьмите: совхозного стада давно нет, а сколько у нас на сегодня в станице голов скота будет у частника? Если за пятьдесят со всех стад наберётся, то считайте, уже прогресс, — настойчиво встрял в разговор обычно молчаливый Валерий, но выпито винца было уже достаточно для мудрых высказываний. — Какие коровы им такое молоко дают в их огромные магазины — только главный санитарный врач знает. Оно и на цвет голубо-

ватое, что вода в лимане Цокур, и никакого следа в посуде не оставляет, наоборот, корова-робот его выделяет.

И тут заговорили о коровах.

Старший своего брата на пять лет Борис Анатольевич с большим удовольствием начал вести разговор о своих домашних коровах, которых помнил всех с самого детства. Да и братишка его Валерий тоже знал их наперечёт, и у него к ним было своё отношение. Воспоминания их о детстве всегда были подквашены не только удовольствиями. Была и беда, которую трудно переносить в детстве. Отца за малую провинность забрали на семь лет в тюрьму, осталось их с мамой шесть человек, в самостоятельность к этому времени выбили только старший брат. Пришлось им всем туговато. Мама ездила в Керчь за извёсткой и чуть-чуть ею приторговывала, ведь правило было раньше такое: к Пасхе дома должны быть выбелены заново, тут уж хозяйка перед хозяйкой наперегонки, потому извёстка в это время нарасхват, да и по году она требовалась. Кто-то готовился к свадьбе, у кого-то — похороны или родственников ждут, дом в таких случаях должен быть выбелен и подведён. Раньше это было как неотменимый закон. Спать хозяйка не ляжет, пока дом не приведёт в порядок. Хозяйство у их семьи, даже без отца, было большое, ведь с него только и жили. Борису в этом досталось самое трудное: добывать траву, заготавливать сено на зиму, убирать в коровнике. Валерка был ещё совсем маленький, ему тоже забота — встретить коров, привязать их налыгачем, привести во двор. Мама или старшая сестра коровок подоят, навеют из молока сливочек, одну часть поставят в закваску, чтобы сохранить их уже сметанкой, а из другой приготовят маслица. Пахтица и обрат тоже в дело: и тёлочек попоить, и курам дать, иной раз и свиньям перепадёт такая вкусная редкость.

Валерка, когда немного захмелевал, часто со слезами на глазах вспоминал, как ещё мальчишкой — ему тогда только двенадцать лет исполнилось — ездил к отцу в тюрьму, в далёкий, незнакомый Краснодар. Почему не смогли поехать старшие брат и сестра, теперь не помнил. Мама собрала тогда ему две огромных сумки с едой и какой-то одеждой, посадила в автобус на Темрюк, дала денег на проезд, сказала:

— В Темрюке купишь билет на Краснодар, попросишь водителя остановиться возле кирпичного завода у самого въезда в город, там у кого спросишь, как добраться в тюрьму, ну, а дальше — как Бог даст.

Она перекрестила его на дорогу и всё сожалела, что сама поехать к мужу не может, ибо хозяйство не бросить, и уже когда автобус тронулся, добавила громко:

— Помощи у людей проси, не стыдись, сынок, добрые люди всегда помогут.

Валерий сделал всё, как наказала мама, хоть и стыдно было ему просить о помощи, но сумки были такие тяжёлые, что ему и так стали оказывать помощь. Мама отдельно в маленькую сумочку положила ему еды на дорогу. Но до самого Краснодара он к ней не прикоснулся. Встал возле кирпичного завода, а как дальше добираться, не знал. На пустынной дороге оказался один, сидел, сидел и расплакался. Случай помог ему. Один мужчина приблизительно через час слез с попутной машины, увидел его красным от напряжения, усталости и обиды, спросил:

— Ты чего плачешь?

Заметил, что сидит Валерка с огромными сумками, через паузу добавил:

— Тебе куда?

— Мне в тюрьму, — ответил Валерка и опять заплакал.

— И мне туда, давай помогу.

Добрались они к тюрьме уже во второй половине дня. Валера всё выполнил, как наказала мама, и домой он возвращался совсем счастливым. Ему удалось папе доставить передачу, и в этот летний день, он, совсем осмелевший и бодрый, на попутке и налегке добрался домой. Ему хотелось быстрее вернуться и рассказать маме о своих успехах. И папа его через несколько лет после освобождения, когда вместе со своими коллегами-шофёрами на посиделках проводил время, с гордостью отмечал, как со своими сокамерниками

ел он продукты, которые в тюрьму привёз ему сынок. Доверительно в этой компании мог рассуждать Валеркин папа, ибо всегда самое малое трое из пятерых проходили великую русскую школу под названием “тюрьма”. Отца его уважали, он был справедлив, для многих стал учителем в дальних рейсах по Родине.

Сметана за этим столом на Масленицу заставила вспомнить братьев об общей любимице семьи — коровке Жанне. Жанна была красавицей, и даже звездочка на её лбу не дала ей обычное в таком случае имя. Жанной окрестил её Валерка после того, как в школе узнал на уроках про воительницу Жанну д’Арк и полюбил её за смелость, отчаянность, необузданное стремление к воле. Многие годы корова давала большое количество жирного вкусного молока. Когда в семье было две доящихся коровы, то Валера просил маму молоко не смешивать, чтобы пить Жаннино. Он всегда замечал, что опять смешали молоко. Это могла делать сестра, но не из вредности, а по забывчивости, сказано: девичья память. Мама всегда после говорила:

— Нюра, зачем молочко объединила, ведь знаешь, что Валерочка любит Жаннино.

Валерка был у неё последним, поздним сыночком, и она его баловала.

— Ой, мам, ну, вредничает он, — отвечала сестра и убежала после дойки летом на море, а в холодное время — на свидание: она была уже барышней.

Упорство Жанны Валера всегда видел, если опаздывал её встретить из стада и набросить на неё налыгач. А Жанна, увидев Валеру издали, старалась убежать от него, и если естественной преграды не было, ей это удавалось.

“Ну, теперь опять бегать по обрывам, — думалось мальчику, — опять пропустить придётся своё гуляние”, — и он даже злился в такой момент на Жанну и бежал за ней следом.

Почему Жанна убежала, никто догадаться так и не смог. В стаде она всегда питалась хорошо, ставков в округе было достаточно, так что и питья в изобилии, а вот убежала — и всё! Когда Валерке надоедало искать её, он приходил домой и объявлял всем об этом. За такое известие все на него сердились, ибо тогда нужно было Жанну искать всем сообща, оставив свои заботы и радости. У Бориса пропадало вечернее гуляние с ребятами, у Ани — её желания. А искать Жанну было необходимо, потому как она могла нанести траву на чужие огороды или придворовые цветы.

Один раз Валерке всё же улыбнулась удача. Он опаздывал к Жанне, но выбежал с лакомством — ломтем чёрного хлеба, на который размазывалось подсолнечное масло, посыпанное солью. Масла всегда держали дома достаточное количество, и это было хорошее масло, которое изготовлялось из поджаренных семечек. В этот раз Жанна не убежала, а издали, вытянув шею принахиваясь и раздвигая ноздри, пошла к Валере навстречу. Жаннины ноздри раздувались и подергивались, как меха в гармошке, её морда стала соблазнительной и заинтересованной, и такая страсть к его еде насмешила мало-го. Он дал ей покушать это лакомство, а тем временем накинул налыгач, и Жанне не удалось убежать. Потом Валера стал пробовать свои приёмы только с хлебом или хлебом с солью, но ничего не получалось. Жанне нужен был именно кусочек посоленного хлеба, намащенного именно таким маслом, — магазинного она тоже не принимала. Один раз Валера очень опаздывал на встречу с Жанной и, как назло, позабыл взять с собой угощение, не выработалась в нём ещё эта привычка. Жанна убежала. Целую ночь вся семья искала её по станице, и только под утро нашли её мёртвой: сбил её кто-то машиной и уехал.

Прошло больше пятидесяти лет, но и теперь у Валерия от переживаний навернулись слёзы.

— Ну, раз пошли разговоры о коровах, и я вам расскажу о своих барышнях, — продолжил Алексей Иванович. — Держали мы с мамой коровок всегда, без них, может быть, и не выжили бы, отец на войне погиб, туговато нам пришлось. Однажды мне нужно было поехать в Керчь в магазины, посмотреть на велосипеды. Соседу нашему купили родители харьковский велосипед, и мне так захотелось его иметь, потому и решил прицениться в Керчи. Ведь ещё совсем малым был, только в седьмом классе учился, летом думал

пойти на заработки и исполнить свою мечту. Собрался по весне в поездку, а мама мне говорит:

— Ну, куда ты, Алёшенька, Майка вот-вот разродиться должна, а ты с дому.

Майкой звали мы нашу корову. А я маме:

— Ну, что вы переживаете, я туда и обратно.

— Сыночек, я же без тебя не справлюсь, боюсь я, а ты уезжаешь.

— Ну, мама, вы говорите, будто меня век не будет. Рано утром уеду, вторым рейсом вернусь, не страшиться.

Поездка на теплоходе в Керчь — одно удовольствие, особенно в хорошую погоду. Первый рейс был рано-рано, чуть только наступит рассвет. Помните, у нас “Пион” в Тамани ночевал, чтобы рано в Керчь привезти на базар продукты. Море спокойное, и цвет его меняется в зависимости от освещённости, растительности на дне и наличия облаков. Не поездка, а настоящее баловство. Теплоход зайдёт на Среднюю косу, там постоит, заберёт пассажиров и — дальше, в Керчь. Город станет прирастать с приближением катера, первыми увидятся портовые краны, дома, стоящие на высоте, выбеленная лестница на Митридат, потом бухта, в ней уже другие пароходы, которые стоят у причалов. А на самой пристани — суета людей, не слишком торопящихся в Тамань, но обязательно мнущихся, чтобы первыми вскочить на борт и занять лучшее место.

Алёша действительно вернулся в Тамань вторым рейсом теплохода, ещё с моря увидел, что мама топчется по пристани.

— Ну, что там, мама?

— Ой, Алёшенька, беда, погибает Майка, разродиться не может.

Вдвоем заспешили. Наталья Гавриловна всю дорогу приговаривала:

— Погибнет Майка, погибнет кормилица наша, беда нам без неё. Ведь всё приговорила, весь коровник выбелила, хлоркой разжила и всё, что надо, ею сделала, и соломки яровой постелила, и обмыла её, и ведёрки с горячей водой стоят, и тряпочек настелила, да приготовила всё.

Мама в разной последовательности говорила почти одни и те же слова, иной раз срывалась на плач, от быстрого хода она задыхалась и всхлипывала, дробя слова на части.

— Мама, ну, что там случилось, скажите по делу?

— А что случилось, сынок... Никак не разродится Майка, уже и глаза закрывает, слезами изошла, мычать устала. Коровьим стоном даёт знать, что помирает.

Домой они уже не шли, а бежали.

— А ветеринара вызывали, мама?

— Да нет никого, сыночек, сам спасай.

У Майки и впрямь была беда. Телок вышел одной ножкой и головой, а вторая подломилась внутри, и не давала выйти всему плоду.

Алёшка, сам ещё, можно сказать, мальчишка, в такой перипетии ему бывать не приходилось, а не растерялся, повторял то, что делали взрослые при таком деле. Он помыл руки с хозяйственным мылом, после тем же мылом обильно смазал руки по самые плечи, одной рукой взялся за лобик, а другой за ножку и затолкал бычка внутрь. Мама ему помогала и советами, и делом. То, что это бычок, по лбу определила Наталья Гавриловна сама. Когда его рука вошла в Майкино тело, Алёша даже напугался — такое разгорячённое нутро было у коровы, и так ему стало страшно, что подумалось, какой же это бритвой ему отхватило руку?.. Даже поглядел на неё. Это успокоило его, он помог обоим ножкам бычка выйти наружу, со столба снятым налыгачем связал вместе распрямлённые ножки бычка и медленно стал тянуть его наружу. Бычок вышел большеголовый и обессиленный, будто это сам он трудился, а не за него и за мать его Майку бились в сарае Алёша с Натальей Гавриловной. Майка обессилела и, казалось, уже не выживет; у неё и сил не было облизать бычка. Мама сама обтёрла его мягкими тряпками, отвалившуюся пуговину обрезала в положенном месте и обильно смазала йодом.

И уже теперь за столом Алексей Иванович произнёс:

— Что бы мне ни говорили люди, учёные или ещё там кто, что животные без разума, — никогда не поверю. Майка, когда совсем отошла от мучительных родов, при нашей встрече смотрела на меня, как на Бога, в первые дни после отёла аж плакала... Сказать ничего не могла, а только молча лизала мои руки. Я понимал, что так она благодарила меня за спасённую её жизнь и жизнь её детёныша.

— А ещё был случай перед самой перестройкой, — после совсем короткой паузы продолжил Алексей Иванович, — когда поехал я по производственным делам в Ярославскую и Костромскую область.

Алексея Ивановича потянуло на воспоминания. Когда бывал он в настроении, то рассказывал про жизнь или события с удовольствием:

— Недалеко это случилось, от Ростова Великого совсем недалеко. Послал меня директор на разведку, как купить отборного скота симментальской породы, ох и горя когда-то мне принесли такие симментальцы, расскажу после. Приезжаю я в одну деревню, дороги ужасные, вернее, их нет, грязь непролазная. Встретился с ребятами, какие мне были нужны, разговорились. На ферме это было всё, скот красивый, правда, стоит, ведь кормов у них там — завались, не ленись только, ребята, не уйдите в запой в нужное время, в богатом положении и зиму пройдётё, и весна не укусит горем. Ибо нет большого горя, когда скот голоден. Колхоз этот вроде бы и богатый был, а какого-то порядка нашего кубанского не видать. Мы разговорились. От фермы совсем недалеко церквушка стоит. У нас как-то не так: фермы обычно за станицу выносят, а здесь нет, рядом, почти в центре деревни. Спрашиваю их:

— Ребята, а почто ферма почти в деревне стоит?

Они мне в ответ:

— А ты, мил человек, попробуй в нашу распутицу сто метров пройти, тогда и поймёшь. — Рыжий один так сказал едко, и на меня смотрит, лыбится. Я вздумал тоже ему ответить так же, но успокоился быстро: как мне с ними отношения портить, не ко времени. Я проситель, тут марку держи. И чтобы отвлечься как-то, дальше совсем о других событиях хотел спросить, а меня всё в туже сторону клонит:

— А церковку вашу когда же так охали?

Почему так спросил, и теперь не знаю. Может оттого, что у нас в станице всё время церковь в открытую жила, служба не уходила из неё. Хоть и батюшки менялись в ней, а она всегда стояла побелённая, и хоть малым промыслом, совсем малочисленным и бедным приходом, но намолённая стояла, лампады надолго не гасли в ней. И маменька моя всегда по воскресеньям и в праздники в неё ходила. Уже когда совсем плохая стала, к причастию соберётся, пересилит себя, пойдёт в церковь. Батюшку никогда в дом не звала; только когда совсем слегла, то просила дома её причастить, это уже за девяносто ей было.

— Что же дальше? — спросил Анатолий.

— Ну, представляешь, Семёнович, мне всё тот же рыжий отвечает:

— Это ещё до войны наши коммунисты повалить взялись, а не сладили, к другой службе её приспособили после того, как кресты сбросили. То артели, то клуб наладили, танцы там устраивали, а как клуб новый построили, то яды и химикаты в ней сваливают.

Все стали глядеть на эту церковь, она вся обиженная стоит, сиротская, но явно прочная, из красного кирпича сделана, даже непонятно, от какого обжига и из какой глины такого багрянца можно выправить, цвета закатного солнца, которое готовит на утро ветер.

— Может быть, тем бы и закончилась моя встреча с этой церковью, но после долгого молчания я вдруг глянул на одну корову. Она, неразумная, стоит в стороне от стада и тоже на церковь заглядывается. И от нас не отходит, вроде бы в разговоре участвует. Её отогнали в сторону, она отошла, опять развернулась и смотрит на самую вершину той церквушки, мне даже не по себе стало. А потом вдруг как заревёт, протяжно, жалобно и, мне показалось, с каким-то смыслом. И уже когда всё сладилось, и я уезжать надумал, меня невидимая сила поволокла в церковь. Мама приучила меня

ходить в нашу Покровскую церковь с самого малолетства, поэтому я знал молитвы, где на службе стоять, когда креститься. В эту местную церковь заходил один, старые церковные двери были давно сломаны, проём задраен отхожим материалом, внутри ничего не было, от сваленной маковки в церковь попадал дождь, и от него посреди зала, перед самым алтарём была большая лужа. Видно было, что и удобрения в неё сваливали под стены, стены от этого набухли красным и фиолетовым цветом, почти все иконы, которые выполнялись по штукатурке, облезли, отшелушились и потому выглядели обиженными и страдальческими. Я в ней постоял, перекрестился на алтарь, в сторону, где когда-то стояла Голгофа, на другую сторону, засобиравшись уходить, мне стало мутно и грустно от увиденного безобразия, но тут произошло чудо. Сначала полилась музыка и пение от хоров, потом по стеночке побежал лучик и стал рисовать большую раму. Внутри этой рамы стал прорисовываться образ Богородицы с Младенцем. Христа она держала так же на левой руке, как и у Казанской, но не Казанская икона являлась, а другая, я её не знал. Я после, через несколько лет всё сравнивал её с Казанской иконой. Когда всё проявилось, окрасилось цветом, у Богоматери стали из глаз сыпаться слёзы, именно сыпаться, а не катиться. Слёзы эти были из крови, но кровь не такая, как из раны. Они катились крупными шариками по Её лицу и скатывались на землю, по пути эти слёзы Богоматери превращались в золотые. Но когда они падали на пол, то золото рассыпалось в мелкие брызги. Не помню сам, как ушёл из церкви, а до сих пор не выходит из головы моей эта невидаль. Почему так произошло, откуда и зачем мне видение такое — не понимаю, но так было, и не сон это вовсе или какая блажь. Хотел бы я побывать там теперь, посмотреть на церковь и сохранилась ли та икона. Не вру я вам, — Алексей Иванович перекрестился на иконы, — не сойти мне с места! — И сразу продолжил: — Я когда бывал в других храмах, то всё присматривался, увижу ли когда-нибудь такую икону, какую нарисовал луч, или я сам всё это выдумал аль привиделось мне. Оказывается, не выдумал я эту икону. И вот однажды, тоже это было в командировке, я увидел её. Главное ведь, что цвета такие же и Младенец в полный рост, в одном храме это было. Дождался, когда закончилась служба, и уже когда батюшка уходил из церкви, я спросил у него:

— А что это за икона?

Он мне ответил:

— Смоленская Божья Матерь, мил человек. Такую чудотворную икону с собой в сражения брал Михайло Илларионович Кутузов.

— Вот так-то, братцы, чудо — оно и есть чудо! — Алексей Иванович перекрестился, даже не для подтверждения своих слов, а знаменуя святость события.

Все почти разом заголосили:

— А что ж ты капельки золотые не собрал?

— Поехали туда!

— Завтра соберёмся да поедем.

— Поехали, Алёша, что тут до Ростова Великого.

— Да нет, братцы, я один должен сперва съездить, а потом и вы, — ответил Алексей, и тут все увидели, что на глазах у него слёзы. И он не застенялся этого, молча вынул из кармана платок и долго вытирал им горькую влагу.

— А ведь Смоленская губерния — родина моих родителей и братушки моего старшего. Смоленщина всегда была грудью, щитом Отечества. Гитлер, когда взял Смоленск, произнёс даже: “Теперь Россия на коленях, скоро Москву брать будем”. А что же теперь? Там людей нет совсем. Мои дети, когда ездили под Смоленск, удивлялись: все дома стоят в деревнях заколоченные, а средняя школа — одна на весь район. Это сколько же там людей осталось?! Вот и грудь России стала хуже нашей старческой, проваленная грудь. Мы такие, что в обоз ещё стоим, а Смоленщина на коленях давно, — это Григорьевич откликнулся на слова о Смоленской иконе.

— А нас, ребят, не приучили в церковь ходить, мы даже не знаем, где стоять, и как молиться — да, Валера? На Пасху даже не всегда ходим, иной



раз постоянно в кругу, когда батюшка со всеми идёт, кропит у людей, кто какие припасы принёс. И если нет ветра, то красота, свечи горят, люди в три круга стоят, церковь посредине тоже в свечах и огне, а чувства, кроме внешней красоты и нет, вот беда, — Борис Анатольевич сказал это с огорчением, и видно было, что ждал он какой-нибудь поддержки.

— Был такой случай в одной северной деревне. Глухомань, многие деревни друг от дружки чуть ли не за десять километров, а то и больше стоят, — стал пересказывать одну услышанную притчу Юрий Григорьевич. — Там не в каждой деревне церковь имеется. И вот жила в одной такой деревне старушка, Марфой её звали. В той деревне домов едва с десяток набиралось. И приходилось ей на службу церковную ходить почти за четыре километра. Время шло-шло, и стала она совсем немощна. Все органы чувств её почти потерялись, осталось лишь несколько: дороги она знала наизусть, могла ощупывать все нужные ей предметы, по памяти могла назвать их, так и в своём огороде справлялась сама, оттого и поддерживала свой достаток, даже человека, едва проведет рукой по лицу, и сразу скажет, кто это. И на слух она была так слаба, что ей нужно было кричать в самое ухо. И вот зимой — пурга, холод, а в воскресенье Марфа уже к началу службы в церкви, на своём месте, всю литургию отстоит и только тогда домой. Батюшка один раз сжалился над ней, уже никого не было в храме, и немного погоды, как уже Марфа собралась домой идти, он ей прокричал:

— Марфа, ну, что ты себя так мучаешь, ведь не слышишь ничего, не видишь, в такую погоду идёшь в церковь, стоишь всю службу, бедная, да же не присядешь.

Марфа выслушала всё, постояла с минуту, повернула к батюшке ласковое лицо и сказала:

— Я не бедная, батюшка, я счастливая, я всё чувствую: и ангелов на небесах, и Её, Заступницу, и Христа, отец родной. — Вымолвила всё это Марфа, лицо её сияло, она перекрестилась на алтарь, на иконы, чуть в сторону отошла, обернулась к отцу Герману и уже грустно чуть слышно проронила:

— А если бы меня не было, тебе бы одному иной раз службу нести было надобно, я и тебя жалею, батюшка, ты не грусти, мы ещё на Страстной неделе постоим, и в Святой четверг все двенадцать Евангелий ты прочтёшь, а я узелками на ниточке их переберу, — сказала и направилась домой. Батюшке показалось, что даже походка у Марфы стала другой, легче.

— Марфа, а фонарик для четверговой свечи принесёшь?

Она обернулась, счастливая-счастливая, что батюшка через неё вспомнил о её родне, ведь знает всё:

— Как же, как же, обязательно принесу. Этот фонарь ещё моя прабабушка носила, потом бабушка, опосля он маме достался, а теперь вот и мне.

У отца Германа навернулись слёзы на глазах, и он сказал ей вслед:

— Вот на таких людях Русь держится, молитвами их сохраняется Отечество.

Помолчали все, никому говорить не хотелось.

Но потом заспорили, теперь заспорили о водке. Сначала стали вспоминать советские цены на неё. Тут всё перепуталось у них, наперебой заговорили, какая цена была на “Столичную”, “Посольскую”, “коленвал”, “андроповку”. Оказалось, что цены у них не совпадают, то на две копейки, то на три. Смешно всем стало, каждый утверждал своё, вспоминал, где и когда покупал он водку и точно помнит её цену.

— А вы помните, у нас в центре была “Чайная”, — вдруг сказал меньше всех участвующий в разговорах Анатолий. — Мы в детстве собирались около неё и ждали, когда вынесут пустые бутылки из-под водки. Они в те времена ещё сургучом запечатывались, даже непонятно, для чего.

— Как непонятно, — подхватил тему Валерка.

В последнее время его стали называть Варелик, подглядели в каком-то фильме перековку имени и понеслось.

— Делалось это, — сказал он уверенно, — чтобы не влили отравы какой-нибудь или не отбавили водочку. Сразу ведь станет заметно, что кто-то в бутылку лазил.

— Да я не об этом, — продолжал Анатолий. — Мы тогда на сданные бутылки покупали конфеты, знаете, такие подушечки, посыпанные какао. А магазин один был, где принимали бутылки, заведовал там дядя Серёжа Бурло. Принесёшь ему бутылки, он спросит:

— Битых нет? — спросит так, для активного участия. Он ведь бутылки эти будто рентгеном смотрел, его не проведёшь. А рентген у него был мизинец — другие пальцы в бутылку не влезали. Он этим пальцем внутри горлышка крутанет, сразу определит, есть там скол или нет. Пробовали мы на чуть сколотых бутылках сургучом замазывать, никогда не проходило, даже если дядя Серёжа пьяный был. Вот он нам на эти целые бутылочки, отставленные в сторону, на счётках костяшками прикинет за них цену и подушечек отвесит, свернёт кулёк из бумаги, подаст кулёк, заулыбается, улыбка у него была как-то наружу больших мясистых губ, протянет почти басом:

— Гуляй, братва.

А мы счастливые с этими подушечками на море. Разделим их по-братски, на всех поровну, и целый день промысел этот нас кормит. Только кушать эти конфеты нельзя, а то сразу их незаметно съешь. А вот сосать подушечки — это одно удовольствие! Сначала лёгкая горечь проступит на языке, когда пудру от какао слизнёшь, пудра — она как мел на языковую ошупь, пока её не употребишь, конфета будет шершавая, а потом радуешься леденцовой сладости целых полчаса. Дососёшь эту конфету до дырочки с какой-нибудь стороны, потянешь из неё повидло или джем, а потом уже до конца, до самой тонкости оближешь её и медленно дождёшься её исчезновения. Пройдёт часа три, и мы станем считать, сколько у кого осталось конфет, кто-то обрадуется: “У меня на одну больше”. Так целое лето и жили: море, конфеты, огурцы и помидоры с огорода, помощь родителям по дому и солнце вокруг. По улицам станешь бегать — босыми ногами учуешь, какая мягкая дорожная пыль, перетёртая колёсами бричек. С улицы — опять на море, и назавтра почти то же самое. Красота! Я только после армии узнал, откуда у дяди Серёжи Бурло была свобода в деньгах. Он ведь битые бутылочки назад не отдавал, а я думаю, что он своим рентгеном и небитые за битые принимал. Вот после армии мы с ним как-то на море встретились. Он мне:

— Анатолий, давай, водочки выпьем.

В своё время ведь в станице все друг друга знали да привечали, не то, что теперь. А после службы в армии ты входил в круг взрослых людей, как ровня им. Сегодня не то, что поздоровается первым с тобой парень значительно моложе тебя, а то, глядишь, и по морде ни с того ни с чего врежет, так не от злобы даже, а чтобы развлечься. Я помню как-то, когда пацаном был, не по шалости, а по отвлечённости не поздоровался с нашим соседом дядей Андреем Залозним, забыл даже про это. Напомнил мне отец — три дня на задницу сесть не мог.

Ну, вот, вспомните — раньше в станице водочку почти не пили, при колхозах денег у людей было совсем мало, потому пили вино, своё — домашнее. Спросит, бывало, кто-нибудь какого-нибудь Василия:

— Ну что, Вася, сколько вина надавил?

А он и ответит:

— Да так, немного, для себя, не для продажи, ведер с двести будет, наверное.

А вот как я отслужил срочную, уже по-другому пошло, народ стал предпочитать водочку. И на поминках, и на свадьбах почти вина не пьют, ни сухого, ни креплёного, простоит оно на столах, так к нему почти никто и не прикаснётся, только особые любители, и то предпочитают винзаводскому вину домашнее.

Мы выпили с дядей Серёжей бутылочку, одной оказалось мало, тогда он мне рисует записку и посылает в свой магазин, только теперь он был в самом центре, помните — возле “скобяного” и почты. Я с той записочкой в магазин, мне в ответ красненькую, я в другой магазин — за водочкой и — на море. Так в тот день он мне три раза записочку рисовал, домой нас развозили дружинники на дежурной грузовой машине, развезли уже, как груз. Моя мама на следующий день даже заругалась на него, он в ответ:

— Не сердчай, Сергеевна, он ведь солдат, ему, может, не дай Бог, воевать ещё придётся, а воевать без водочки и привычки к ней — это вам не глину месить, это человека надо заколоть, — и он показал всем телом, как надо колоть штыком.

Выпили ещё по стакану винца и опять заговорили о еде.

— А мне жалко наших горожан, — тихо сказал Борис Анатольевич, — что они там, бедные, кушают? Я вот был у дочери в Москве, сам удивился. В магазин зайдёшь, они в супермаркетах закупают еду на всю неделю. Красиво, ничего не скажешь, и витрины, и сам магазин, а там наставлено всего, нам бы в станице и за год всем вместе не съесть. А ты попробуй еду эту есть, — одна пластмасса, мне кажется, всё там из нефти сделано, а фрукты — точно восковые: не укусить, не понюхать.

— Да, это так, — подхватил Анатолий, — ни мяса там не увидишь, ни колбасы нормальной, такой, как у нас домашняя колбаска. Кабанчика когда заколют, обязательно женщины колбас наделают, в натуральной оболочке — в кишочках. Начинят их мясом, салом, все специи там, какие нужно, чеснок обязательно, колечками обжарят, аккуратно положат в банки и зальют смальцем, после только доставай и ешь, а она чесночком и горчицей шибает в нос, кишочка хрустит, когда ты её зубами проткнёшь, сам себе завидуешь от такого удовольствия. Раньше, лет пятьдесят назад и магазинная колбаса была ничего, съедобная. Тётя Нюра, помните, что на фантале водой торговала, она когда-то поехала к сестре на паровозе, совсем недавно это было, годков семь назад. И вот рассказывала, зашла она в вагон в Крымске, идёт, ищет себе место, вокруг все колбасу едят, а колбасой этой совсем не пахнет. Так она потом всем рассказывала про это — так была удивлена. А в конце пятидесятых годов пришлось ей тоже ехать на поезде. В том же Крымске, тогда он, правда, станицей ещё был, называлась Крымская, села она в вагон, а по вагону запахи колбасы, да такой, что аж голову кружит. И что удивительно: ел её в вагоне всего один мужчина, который сидел на самом последнем месте, а дух колбасный — по всему вагону.

— Да, запахи и теперь они научились без настоящих специй производить. Ту же колбасу или рыбу, к примеру, напишут про неё, что копчёная она, а на самом деле никто её не коптит. Побросают в воду, нальют туда какой-то гадости, подержат в такой ванне — и получай копчёности. Ешьте, ребята! — Алексей Иванович так напряжённо это сказал — аж жилы на шею напряг от неудовольствия.

— А настоящий окорочок покушать, особенно на Пасху, радость по телу пойдёт от этого, будто ангел по нему потопчется, — продолжал Анатолий.

— Да вот Валерочка делает окорока, сами знаете, какие они. Братушка, скажи, ты ведь мастер по этому делу, — обратился Борис Анатольевич к своему брату Валерию.

— Ну, что, колотушники, разговорились, пора бы за Масленую неделю выпить по стаканчику красненького, — сыпанул самый старший, — говори, Валера, тост, ибо требуется понемногу употребить.

Валера встал, поднял стакан вина, повертел его, любуясь на все грани, поднёс к ещё освещённому вечерним светом оконному стеклу, а сидели они уже пятый час, порадовался его рубиновому цвету, стакан был насквозь прозрачный и действительно красивый, только солнца убавил, таинственно понюхал его содержимое и традиционно произнёс:

— Разрешите поднять этот бокал прекрасного таманского вина, которое изготовлено из винограда третьего отделения нашего совхоза, — он оговорился по привычке так называть знакомую всем производственную местность. Совхозы ведь давно исчезли, появился собственник, который изменил существующие порядки, названия, традиции, жизнь и быт станицы, вселил в неё сумятицу и какую-то затаившуюся злобу на всё и на всех. Валера продолжил:

— Это каберне изготовлено из винограда с третьей клетки седьмого поля, — он не любил чётные числа с самого детства, потому поле и клетка всегда выдумывались, всё это для красного словца. Не сокращая мысли и выражения, он сиял от радости, бодрился и стелил дальше:

— Вырастили его прекрасные руки наших станичников. На самом деле... У Валеры были любимые слова “на самом деле”, “по существу заданного вопроса”, “вернее сказать”. Это были слова, за которыми он прятался, как за паузу или как его бабушка за молитву.

— На самом деле мы должны помнить, — продолжал он, — что живём на лучшей земле, при самом светлом солнце и на воздухе, который бодрит не только голову, но и мысли. Посмотрите, ведь почти по всей России-матушке снега и холод, а у нас зацвёл миндаль и вот-вот зацветут жердели. Давайте выпьем за память наших родителей и за светлые праздники впереди.

Все выпили, не чокаясь.

— Ну, ты, Иванович, вспомнил, что нас, таманцев, зовут колотушниками, а ещё бы сказал про стеблиевцев, что они чаканы.

— Ха-ха-ха... — опять разнёсся дружный смех мальчишника.

Прозвище “колотушники” получили станичники за то, что часто местные казаки спорили на ловле колотушки, к которой привязывался нетолстый фал. Колотушку бросали на пристань от парохода, стремящегося причалить. За колотушкой тянулся фал, к нему привязывался причальный канат. Причальный канат тяжёл, его с парохода на пристань не добросить, потому и нужна была колотушка, которую умело выплетали моряки из верёвки. Капитан парохода давал в старину копейку тому, кто её поймал. Вот из-за этой копейки и выходил спор, а иной раз ссора и драка. Лучшим колотушником много лет слыл Данила Харитонович Погребенко. Он работал на старой, ещё дореволюционной пристани грузчиком. На эту пристань причаливали пароходы за зерном, которое свозили из многих станиц Кубани для отгрузки её в Крым и Европу дальнюю. Данила был силен, мог на себя взвалить два мешка, иной раз для похвальбы перед девчатами брал их под мышку и заносил на пароход. На спор он мог занести мешки, как котят, для этого сам перевязывал горловины мешков, складывая их концы в куль гармошкой, перед этим подворачивая кромки холстины. Именно за них брал Данила два мешка и мог пронести их хоть до церкви. За колотушкой, брошенной с парохода, нужно было всегда потолкаться. Тут Данила был самым искусным мастером, растолкает всех, а колотушку добудет. Был случай, когда Данилу Харитоновича пытались расстрелять в смутное время, в гражданскую войну. Тогда было так: белые придут в станицу — расстреливают своих врагов, красные приходят — тоже расстреливают, только уже своих. В тот год, когда ему не повезло, красные особо сильно лютовали, насиловали женщин, коровам от непонятной злости вырезали вымя, резвились и развлекали себя диким промыслом и лютовали, конечно. Не одного в тот день замучили темрюкские портовые разгулявшиеся ребята — печаль они так свою развеивали. До того разлютовались, что привязали одной барыне камни к ногам и шее и прямо под пристанью потопили её. Данила жил в зажиточной казачьей семье, у них даже была своя, довольно-таки большая конюшня. На этой конюшне и зацепился он с красногвардейцами. Те вывели его на обрыв, раздели, совсем голого поставили у самого края, и когда прозвучала команда: “Пли!” — бросился он вниз, прыгнул в воду и нырнул. А нырять Данила Харитонович так, что в станице ни до него, ни после подобное совершить никто не мог. Море в тот день очень бурлило, потому те, кто стрелял в Данилу, его не увидели, когда подбежали к обрыву. А он донырнул до самой пристани — было до неё больше семидесяти метров, — под нею затаился за сваями да там уже чуть было не погиб — запутался он в волосах утопленной барыни и едва не задохнулся. Но барыня отпустила его — двум смертям не быть, да ещё потопленными в одном месте! — пожалела она его. Пробыл Данила Харитонович под пристанью до самой ночи. Слышал он, как жена его Пелагея Марковна носилась по берегу, кричала, звала его, а он не находился. Горем убитая Пелагея так и подумала: “Убили моего милого, шлёпнули красные!.. Где он теперь всплывёт и когда?.. Завтра опять нужно по рассвету бежать на берег, искать его”. А искать не пришлось. Ночью пришёл её Данилушка, тихонько постучал в окно. Засветилась лампа. Пелагея испуганно спросила:

— Кто там?

— Да это я, Полюшка, открывай быстреей.

Пелагея подумалось, что это уже мёртвый пришёл Данила, посмотреть, как тут без него живут. Пелагея стала креститься и читать молитвы. Тут уже строго Данила прошептал:

— Открывай, Полина, замерз я, одежду на конюшню принеси.

Полина на конюшню, чтобы никто не видел, принесла ему горячей еды и одежду. Не взяла смерть колотушника Данилу, мимо пронеслась. Данила Харитонович на время затаился, отселелся в чужой стороне, а когда стихло, воротился домой.

А звонари — это уже казаки и казачки станицы Ахтанизовской. Тоже прозвище получили не зря. Станица Ахтанизовская, как и многие прижатые к Кубани и лиману места, была сторожевой станицей. Адыги и черкесы совершали набеги на весь Таманский полуостров, часто ходили и на неё. По Кубани они доплывали до лимана Цокур, а дальше незаметно по заросшей камышом, чаканом и кустарником местности можно было перекинуться в Ахтанизовский лиман и подойти к станице. Эти набеги предупреждались набатом с колокольни местной церкви. Однажды вся станица сбежалась на набатный призыв к площади, а оказалось, что в верёвке, привязанной к колоколу, запуталась коза. Это она наделала дикий переполох. Так ахтанизовцы навсегда стали звонарями.

Непренменно нужно сказать и о казаках Вышестеблиевской станицы. Они слыли горобцами, зайцами и чаканами. Чаканами их звали за то, что в изобилии он рос по лиманам, из него делали маты, которые употребляли при ловле рыбы, приспособливали маты и на другие дела, из чакана делали поплавки к сетям, из его цветков приготавливали мази от ран, а корневища пускали на отвары вместо чая. Стеблиевцы во множестве заготавливали чакан и на продажу. Горобцами их звали за то, что птицы этой в станице было умеренно много, и к ней относились уважительно, ребятам запрещали ловить их и истреблять, как это делалось в соседних станицах. Раньше заборов почти не было, хаты и сараи камышом крылись. Хозяина или хозяйку звали из дома на улицу ударами кнута по тыну да криком. После этого из всех камышовых нор вылетали горобцы, тучами вылетали, такими стаями, аж небо потемнеет. Вот за это и понесли Вышестеблиевцы это прозвище — горобцы. А почему звали зайцами, теперь не удаётся выяснить. Зайцы, они и есть зайцы. В станице и сейчас живут семьи по фамилии Заяц. Ещё есть семьи с переделанной фамилией на кацапский манер — Зайцевы. Тоже из казачьих родов, но Зайцевы.

Старотитаровцы никогда не любили таманцев. От титаровца часто можно услышать:

— Да что там той Тамани, захоlustье, там только и радости, что Керчь рядом. А у нас в Титаровке цивилизация!

И что там входило в понятие цивилизация — никто не знал. Может быть, была у них гордость за своих детей, которые выучились и в районе занимали начальственные места. Может, оттого, что стояла станица на перепутье дорог, и был всегда в ней большой рынок, и шла через неё железная дорога, и был там вокзал. На Бокаях было много воды, в лимане — рыбы, и огороды у них были по гектару и больше. Последняя война их не сильно отбомбила, восстанавливать долго хозяйства не пришлось, богаче они были, потому и дети их выучились. Это не Тамань, которую сровняли бомбами с землёй почти всю. В ней заканчивалась немецкая оборонная “Голубая линия”. Всего несколько домов старинных и красивых осталось после войны: дом Петренко, от него и балка получила название Петренковская, которая плавно своими мягкими обводами выходила к заливу. На самом берегу, в порту, где сброшено было и нашими, и немцами больше всего бомб, выжил постоялый двор казаков из дворян Толстопятых, у самого памятника “Запорожцам” дом землемера и архитектора Тамани, совсем недалеко от центра дом, в котором после войны жил кройщик Пострагань. Уцелела церковь с колокольней, ещё дом, где в войну был госпиталь, а до войны — грязелечебница, после войны — школа. Пожалуй, и всё! А так остались землянки да глинобитные турлучные домики. Таких построек почти во все времена было большинство на Кубани.

Титаровцев звали все в округе “та шей га”. Посторонний никогда не поймёт, почему так. А прозвищем этим назвали их ещё в дореволюционное время. Готовилась станица к встрече войскового атамана. Событие значительное. Из церкви за станицу вынесли иконы и хоругви, вышел батюшка, станичный атаман волновался и всё бегал от батюшки к своим старейшинам и казакам. Испекли каравай, ребятишек выставили на самое высокое место наблюдателями, они влезли на деревья и должны были закричать о приближении его высочества — атамана войска. Ждали долго, измучились на пекущем солнце, за станицу высыпали не только казаки и ребятишки — там собрались почти все, кто мог ходить, даже иногородние. И вот закричали с деревьев ребята:

— Едут, едут!..

Вся станица на несколько шагов выдвинулась вперёд, атаман с иконой, казаки навьютяжку, все в парадных мундирах. Показались брочки, на безветренной погоде дорога сильно пылила. Каково же было удивление всех, когда на передовой кибитке к строю подбежал седой цыган. Он сам остолбенел от неожиданности: нигде его так не встречали, целую вечность, казалось, вглядывался в толпу, переводил глаза с икон на казаков и казачек на строю атамана, да как закричит от волнения:

— Здорово, титаровцы! — И уже сам не понимая, как ему от беды отворотиться, добавил еще бодрее: — Та шей га! — закрутил кнутом, ударил себя по ногам и почувал, что будут его, наверное, бить, да и всех других цыган заодно. И чтобы как-то смягчить свою участь, заорал:

— Батюшка атаман, дарю вам сивую кобылу и нанки на штаны! — И только тут толпа разразилась хохотом.

Вот так целый век титаровцев на Тамани при встрече приветствуют и теперь:

— Здравствуйте, титаровцы, та шей га!

Жителей хутора Солёный звали шаранами. Это тоже с давних времён, когда ещё Ахтанизовский лиман подходил к кручам с самого края хутора. Они и хвалились уловами дикого шарана, коего в лимане было предостаточно.

Курчанцев по делянкам называли то хвостовые — они были самыми близкими к Темрюку и слыли его хвостом, — то чапраками, то есть мастерами выделывать кожу для шорников и ремесленников, кои готовили ножны к кинжалам, а казаков одной делянки и вовсе величали караимами. Меж казаков станицы Курчанской затесался в начале прошлого столетия один крымский человек, чёрный лицом, даже верховодил одно время не только своим многочисленным кланом, но и на казаков влияние имел. И когда к нему обращались со словами: “Эй, татарин”, — он зло отвечал на это: “Я не татарин, я караим, мы от самого Адама стоим”. Казаки смеялись над этим, но так и стали называть этот околоток караимами.

— Курчанцы тоже завидуют Тамани, как и титаровцы, — заголосил Анатолий. — Они даже утверждают, что таманские казаки бескультурные. Не от одного слышал, как они говорят: “Видели вы, как едят вареники таманцы? Они вареник накальвают на вилку, макают им в сметану, потом руками снимают с вилки и кладут в рот. Наши курчанцы совсем другие, у них в родах чистота и великолепие. Они берут вареник руками, обмакивают его в сметане, накальвают его на вилку, и только после едят его уже с вилочки”.

Опять все засмеялись.

Тамань, Тамань — ветреная моя, какая ты прелестная и таинственная! Твои очертания радовали греков, византийцев, римлян... На твоём месте стояли, заводили детей, ласкали жен, надеялись, что достались эти места им навсегда, и хазары, и тмутараканцы-русичи, и генуэзцы, и золотоордынцы, и турки всех мастей, и татары. Баякали тебя, окутали любовью, стараниями и смелостью переселенцы-запорожцы, которые нагрянули сюда по милости государыни Екатерины, устроили здесь войсковую столицу, за год поставили свою первую на Кубани церковь Покрова Богородицы, стали жить здесь и умирать достойно. Твои берега, Тамань, баловали воды Таманского залива, Азовского моря и моря Чёрного одновременно. Ты приучила ласкать себя

и разорять неудобные постройки ветрам со всех сторон. Ветры сами спорили между собой, кому в данное время дуть, потому и меняли своё направление над Таманью часто, иногда и по три раза в день. Майстра — это ветер западный, который дует с Керчи. Он может исполниться своей силы почти мгновенно, обычно это ветер рыбный, но и капризный ветер. Он часто может подкинуть снег, дождь, любую непогоду. Северный ветер — его местное название певучее — тримунтан. Обычно это не очень сильный ветер, рыбаки его любят и часто про него говорят: “Масло, а не ветер”. Он приносит селёдку, сарганчика, другую рыбу. Даже бычки, сидящие на дне, чувят ветер и при тримунтане хорошо ловятся. Грего — для Тамани это ветер от Горелой горы, которая стоит на противоположном берегу залива. Он неприятен лишь для отдыхающих, которые приехали погреть свои тела на нашем солнышке, потому что он дует им прямо в лицо, и воду в заливе всю перекопотит, замутит и сделает неприятным купание. Наши люди про этот ветер много не говорят, потому и название его подзабыли. А вот левант — чистый восток, это ветер из неудобных, буйных, капризных, он и летом такой, таманцы его не любят. А за что его любить?! Местное население большие рыбоеды, и в те дни, когда дует этот ветер, рыбы они не дождутся — отгонит её левант к другим берегам. Меньше трёх дней он не дует, и если не перестанет дуть за это время, то ещё три дня будет надоедать несущейся пылью, а то и песком, не прекратится — ещё три дня мучайтесь, бывает такое несчастье, что дуть он будет целый месяц. От этого ветра все прячутся: и люди, и собаки, и даже муравьи, да и насекомые всякие. Только деревьям не спрятаться — стоят, качаются, аж корни у них стонут под землёй и просят, чтобы дождь не пошёл. Дождь в такой ветер, — погибель для деревьев. Не за что ухватиться корням, когда размякла земля, потому и просят корни о спасении, жалуются там в темноте, переговариваются по соседству с другими корнями деревьев об опасности. Спокойный ветер низовка, он с юга, потому и низовка, к нему относятся почитительно, осенью он приносит тёплый дождь и дует он как-то осторожно, предупредительно. Ребятня любит в такие дни ловить бычков с пристани или на Лысой горе прямо с камней. Когда дует низовка — тепло, у моря она почти не ощущается, так только, теребит слегка одежду, да если без головного убора будешь стоять, то волосы переберёт на голове, будто нежными пальцами. Вода в заливе у берега спокойная и прозрачная, низовка отгонит на другую сторону даже слежавшуюся камку, прибитую к берегу другими ветрами, и дальняя рыба от него на воде будет трепетной и чуткой. Будто бы разговаривать с вами хочет море или услышать какую-нибудь тайну, а добудет тайну, уже её не спрячет, а понесёт по белу свету, хотя бы к противоположному берегу. В такую погоду и впрямь слышимость над водой заметно лучше. Но если низовка перерастёт в раптовую широкаду, то такой ветер так может обозлиться, что сорвёт у домов крыши, разобьёт слегка прикрытые ворота, поломаёт ветки на деревьях, а сухостой опрокинет на землю и станет таким, что из убежищ никому выходить не хочется. Не зря греки, здесь жившие два с половиной тысячелетия назад, крыши домов накрывали черепицей, каждая из которых весила больше двадцати килограммов. Такую черепицу так просто не сдешь! Лютее гарбия ветра нет. Это настоящий убийца. Сколько кораблей он погубил и людей — одному Богу известно! Это юго-западный ветер. Ещё в античные времена, когда греческие корабли стремились попасть в Каракандамский залив — так тогда назывался залив Таманский — и торопились к своим городам Гермонассе, Фанагории, Кепам, Тирамбе, и если на пути им попался свирепый гарбий, то гибели можно было не избежать. Судходство было здесь сложным всегда. По пути обычно наткнёшься на рифы, исходящие от мысов Тузла, Панагия, Железный Рог. Всё Чёрное море пройдёшь легко, а на эти рифы напорешься. Когда дует гарбий, лучше где-то отсидеться кораблю, переждать его в закрытой бухте. Ещё есть такой ветер “понент”, даже название его похоже на артиллерийский выстрел, особенно если произносить его с малой задержкой на первом звуке, немного надувая губы и щеки, то на выдохе так и случится, словно это и не слово, а всыхнувший порох. Да и сам ветер понент предупреждает людей, дворовую скотину, диких

зверей и птиц, что скоро он “пальнёт” А пальнёт потому, что быстро он может перерастить и превратиться в губительный гарбий, а если его проскочит, то обязательно станет раптовой широкадой. И тот, и тот ветер — настоящая отравка. Понент же — ветер-предупреждение, ветер-порох.

Летом бывают редкие дни, когда никакого ветра нет, местные люди так и скажут: “Бунация прижала...” Жара и днём, и ночью, ни уснуть, ни сделать лишнего движения невозможно, и каждому подумается: “Ну, скорее бы наш таманский ветер вернулся, дал бы Бог”. И он обязательно вернётся, и станет кружить над водой и над землёй, какой-то из них захочет оторвать Таманский полуостров целиком и бросить его куда подальше, будто одинокого лебедя. С вершин Карабетовой и Комендантских гор окончность Тамани с косою Тузла и впрямь похожа на смертельно раненого лебедя, крылья его чуть распрямлены, голова на длинной шее упала в Керченский пролив. В предчувствии большого ветра проснутся вулканы Карабетовой горы, станут поднимать с километровых глубин тысячи тонн грязи, вместе с нею выбросится горючий газ, он может вспыхнуть, и тогда всё земное пространство содрогнётся, от него по воде в заливе пойдёт рябь, совсем не похожая на ту, что производится от ветра. Эта рябь взволнованно распушит крылья “лебедя”, и покажется, что вот-вот он сам вздрогнет, сердце его забьётся, вскинется голова, а под водою задвигаются его ноги. Ветры тут же ответят страшному гулу и дрожанию земли, и с высот этих горюшек кажется, что гарбий, тримунтан и майстра действительно смогут поднять этого “лебедя”, оживить его полностью и заставить лететь куда-то на запад или на север, где он не будет одиноким и где сможет найти свою пару. Тогда и ты закричишь:

— Не улетай, мой милый “лебедь” — Таманский полуостров, останься, потерпи, дай насладиться ногам, которые осторожно перебирают твоё дивное пространство, дай умному сердцу настроиться на твою непознанную спрятанную душу, позволь прикоснуться слухом и участием к твоим бедам, роняемым словам и стону твоему. И мне, как многим, хочется тебе помочь обрести прежнюю вольность и святость.

— А чем теперь поможешь? — будто откуда-то издалека, гулко и тревожно произнёс Юрий.

Оказывается, он не слышал, думая о своём, как долго уже обсуждали деды беду, которая набросилась, как хищник, на их большую Тамань. Все наперебой говорили об этом. В выражениях не стеснялись. Решили выговориться, а потом, в прощенье воскресение, отмолиться. Обсуждали всё. Зачем кто-то выдумал для этой святой земли дурное будущее и горькую славу. Деньги веером посыпались в эти места, чтобы устроить здесь, на тёплом добром море зловредные терминалы. На земле, по которой прошёл апостол Андрей, святые Кирилл и Мефодий, где устраивал непрерывными молитвами одну из первых православных монастырских обителей на Руси ещё в XI веке преподобный Никон. Здесь в Покровской церкви молился о стяжании Святого Духа Игнатий Брянчанинов, эту землю воспели Пушкин и Лермонтов. А богатые люди задумали почти привычное, когда бизнес источает душу, — надругательство. Этим разорителям вместе с властью было не страшно растаптывать мечтания местных зодчих, как обустривать землю успехами строителей от античных времён до наших дней. Ведь места эти были не только красивыми, но и полезными для отдыха и лечения. Есть здесь вулканическая глина, глина синяя, грязь целебная в лиманах, сытый воздух. Грозно говорили деды на эту Масленую о чиновниках и начальниках местных, районных, а то бери и выше, у которых нет никакой заботы о том, где теперь отдыхать нашим людям, не только станичным, но и всем, живущим небогато в нашей стране. А ведь Тузлинская грязелечебница стояла здесь от начала прошлого века, казаками выстроенная и для своего сословия пригодная. Много народу вылечилось в этой грязелечебнице, приезжали с костылями — уходили пешком. Традиция там такая завелась — вылечился — костыли оставь на месте. За годы там выросла целая гора из костылей. Кубанскому войску эта лечебница была нужна, а Советам и нынешним капиталистам с их властью не нужна. У них есть заграница, Европа, острова в океанах. Терминалы начали строить разные от самого Кизилташского лимана до косы Тузла.



Лучшие земли и пляжи решили отдать новым богатым деятелям, и перенавливать задумали всё: аммиак, метанол, нефть и нефтепродукты, сжиженный газ из углеводородов, зерно, уголь, а в планах ещё что-нибудь поплотнее.

— Превратим Тамань в советскую шампань, — провозгласил когда-то Никита Сергеевич Хрущев.

Ведь безграмотный был правитель, но вместо хлопка стали выращивать у нас виноград, и вино хорошее производить, люди зажили лучше.

— Вы вспомните, как только стали закладывать виноград, и все ещё смущались, баба Клава, что выдавала талоны на продажу в базаре, наказывала:

— Вы, бабы, не бойтесь винограда, грошив у вас будет, как у жидов, — напомнил Алексей Иванович. — Так и стало.

— А эта власть решила землю нашу превратить в мусоросборник. Успешно у них всё получается, — Анатолий сказал это тихо, сожалея о будущем своей малой Родины. — Уехать даже хочется, так у нас закрутили зло.

— Сгорел забор, гори и хата! — Борис Анатольевич это выговаривал, когда какое-то дело становилось безнадежным. — Они ещё и ядерные отходы будут тащить через нас.

— На чужой беде личного счастья не построишь, — вымолвил Алексей Иванович.

— Дети наши стали другими, в поля их и калачом не заманить, на шею у родителей висят, ночью гуляют, днём спят, вот и вся наша жизнь, правильно про них говорят — “золотая молодёжь”, — неожиданно для всех проронил Анатолий нетерпимо.

— Да какая она золотая! Вот закончатся деньги у родителей, дипломы их, которые они купили, никому не нужны, как и они сами. Посмотрим потом на это золото. В больнице специалистов нет, закрыли хирургию, детское отделение, роддома давно нет, в аптеках лекарство столько стоит, что пошёл туда с головной болью, а вернулся домой с инфарктом, — поддержал Анатолия Алексей Иванович.

— Почти за любой бумажной в Темрюк надо ехать, даже за свидетельством о смерти. Вот были у нас загсы при администрации, и то легче жилось. Малую Родину отняли у нас. Теперь все в Тамани, как и в других станциях, только умирают, а у ребёнка в свидетельстве о рождении ставят “Темрюк”. Раньше, когда женщины наши рожали и в Керчи, и в Краснодаре, всё равно ставили в свидетельстве родную станицу. Теперь родина у них размытая. Пройдёт лет тридцать, никто с гордостью не скажет: “Я родился в Тамани”. Вот так, мальчики! — Юрий всё это произнёс с горечью, обидой и растерянностью.

— Вы знаете, что противно телевизор смотреть, особенно их рекламы. “Газпром — национальное достояние России”, — с издёвкой произнёс Валерий. — Им бы в морду за такие слова! Совсем нас за дурней держат. — Так перевели старые казаки разговор медленно, как обычно происходит в русском застолье, на политические темы.

— Да нет! Не за дурней. Это самое прямое издевательство, — поддержал Анатолий, ещё не успев остыть от своих огорчений. — Они под эту рекламу чарку пьют и хохочут над нами.

— Ребята, да ну её, эту политику, наливайте по стаканчику нашего любимого с шестой клетки, — старался перевести разговор Алексей Иванович в обратное русло, ближе к своей родимой Тамани.

— Да не с шестой, а с седьмой, — поправил его Валерий, настаивая на нечётном числе.

Потемнело. Весна всё ещё не пришла, а на дворе март. Земля не парила, но кто-то в февральские окна осмелился посадить картошку. Озимый чеснок пробрался наружу по холоду, одновременно с нарциссами, сорняком и едва тронувшимися после зимнего сна листиками роз. Весенняя тёмная ночь всех настраивает по-разному. Одному хочется уже ранним утром выходить в огород, по которому соскучились крестьянские руки, другому не терпелось заняться ремонтом старенького МАЗа, чтобы свежей покраской на удавшееся солнце привести его в состояние ответственности и весёлости одновременно. Третьего уменьшенная по длительности ночь заставляла укор-

тить своей сон, четвёртый всё больше стал думать о своих пчёлах, которые требовали не только рабочего внимания, но и длинных разговоров с хозяином. Самый старший из всех — Алексей Иванович — был хороший хозяин. Как он успевал в свои семьдесят с гаком лет содержать хозяйство, в котором теперь были свиньи, индюки, кролики, простые утки и индоутки, гуси, бессчётное количество курочек, которые вольно ходили на хозяйственном дворе, а ещё собаки и обязательно какая-нибудь затейная им стройка? Но самое главное, почти таинственное, что делало его совсем загадочным, весёлым и чутким, были его пчёлы. Как только начиналась весна и укорачивались ночи, он становился неразговорчивым, но улыбчивым и неугомонным, ворочался по ночам, ждал утра, но более всего — первого облёта своих пчёл. По ночам он несколько раз выходил к ним, прикладывая левое ухо — на правое он был чуть туговат — к каждому улью и по звукам в них понимал, что там происходит внутри. Но перед самым облётом пчёл — его он предчувствовал — Алексей Иванович готовил водичку для них, обязательно фонтанную и подогретую. Водогрейку он сам смастерил из ящика, приспособив в нём под поилкой лампочки — они-то и нагревали водичку, которая у него была трёх видов: одна солоноватая, в другой он разводил чуть-чуть медку, а третья — свободная, чистая. Обязательно станет наблюдать за своими любимцами, из какого улья первыми они подлетают к поилке, и в какой последовательности из этих трёх чашек пьют. Всю ранее сбережённую разговорчивость он возместит в беседах с пчёлами. Больше всего он станет разговаривать с матками, каких-то из них хвалить за чистоту в улье, за порядок, с некоторыми будет построже, над трутнями станет посмеиваться, даже поддразнивать их, при этом думать о своей молодости, о красивых девочках, кои встречались ему на пути, а то и сам себе скажет: “Господи, забрал силы, заberi и мысли”, — и в голос засмеётся. Спросишь его:

— Алексей Иванович, что ты там шепчешь своим пчёлкам?

Он ответит, ласково так скажет:

— Да оно тебе и не надо. — И сам уйдёт то в огород, то ещё по каким-нибудь делам, а всё нутро и мысли торопят его к пчёлкам.

Позже, когда всё обустроит Алексей Иванович в ульях и увидит полный порядок, погрузит необходимое хозяйство и скарб на специальный прицеп и вывезет пчёл в поле, на цветение садов, полевых цветов, маслянки, других медоносов. Какое-то время поживёт с ними в поле, и не будет счастливее человека, чем он наедине с небом, полем, таманскими ветрами и ночными звёздами, которые улыбаются там, в вышине, только ему. В будочке при прицепе он будет готовить себе обеды и ужины, а по вечерам, уже в сумерках читать молитвы и маленькую любимую книжицу Екклесиаста при керосиновой лампе “Летучая мышь”.

А Валерия уже больше месяца преследовали неудачи, разочарования, беды. Весна только их объединила, и ночами они не давали ему спать, и всё-то он бросался в рассуждения по кругу, и они травили его. Если бы не было плохих соседей и споров о межах! От этого сердце его стало работать с переборами, головные боли не отступали, даже появилась ломота в теле.

— Я их скоро всех перестреляю, — неожиданно злобно, после горьких терзаний, с тихим шипением произнёс он.

— Кого, Валерочка? — Григорьевич не искажил его имя, ибо испугался за своего друга.

— Да всех — судей, соседский выводок негодней, у меня и пятизарядка припасена для этого, — стало видно, что Валера не переставал думать о своих переживаниях, только выливалось это наружу после выпитого вина.

Прошлым летом у него умерла жена. Потом поломал на работе ногу. Повалялся в больницах, почти внезапно стало болеть сердце, да так болеть, что он подумывал, что ему вот-вот придёт конец. Но особенно сильно в последнее время донимала Валерия ссора с соседями по огородной меже. Сначала соседка Клава с небольшим заступом к нему построила баню и кухню одним строением с сараями длиной метров пятнадцать. Сделала она это совсем без согласования с Валерием. Через пару лет попросила его разрешения пользоваться двором, чтобы перекрыть в этом строении крышу. Валерий не воз-

ражал, было это уже после годовщины смерти жены. Но вместо крыши в несколько дней возник второй этаж, и крыша второго этажа вовсе нависла уже над его огородом, при этом они отпилили ветки его груши, которую посадил когда-то его отец. Это его и взбесило. Смело и решительно действовал Валерий только тогда, как выпивал, а выпивал теперь часто для того, чтобы загасить боль и скуку от потери своей супруги. И вот не успела возникнуть крыша, как Валерий Анатольевич, выпив немножко вина, завёл бензопилу и спилил все стропила ровно по той черте, которая повторяла межу на высоте. И пошло дело — суды, пересуды. Деньги наступали на него, как вражеские полки. С полками ещё можно бороться удачно, смелостью. А тут — нет. Суды после того, как получили нужные участники свой куш, на всё отвечали не логикой, правдой и действительными событиями, экспертизой, а так, как нужно было богатым. Валерий Анатольевич понял, что с этой машиной не справиться. Он бы уже и бросил тяжбу, ну, Бог с ними, с этими квадратными метрами огорода, но уж больно засела в нём обида, и он собирался предпринять решительные действия. Один раз уже он ходил в атаку с ружьём, по станице ходил ночью, отыскивал обидчиков. Засело в нём это оскорбление, как заноза, как постоянная боль.

— Чуть-чуть сердечко начнёт совсем сдавать, я их постреляю, — снова и снова Валерий откатывался в свои прошлые горькие размышления, — а потом и себя порешу.

— Да что ты заладил всё это, так вопроса не решить, Валерочка, — Григорьевич старался говорить ласково, чтобы как-то отеплить его настроение. — Да и прощёное воскресенье впереди, негоже так рассуждать.

Анатольевич немного затеплился, даже улыбнулся:

— Ладно, пойду в воскресенье попрошу у них прощения, а на следующей неделе всех расстреляю.

Валерин родной брат Борис Анатольевич сидел всё это время в растерянности, ему было жалко своего меньшего, потому только приговаривал:

— Валер, Валер, да брось ты это, подними руку и опусти.

— Ну, как же бросить, Боренька, ведь это земля наших родителей — папы и мамы, — слёзы катились по его лицу от огорчения, обиды и беспомощности. — Да бросил бы я всё это, но они не унимаются, всё новые и новые суды затевают, желание такое имеют, чтобы отказался я самостоятельно, и новые документы на землю, как это им надо, оформил. Устал я, брат.

— Рассказывают нам по телевизору, что прежняя царская власть была лучше, чем большевики. Белое движение ушло на запад, долго сохраняли и воинские традиции, и русскую честь. Бывшие князи и графы работали там таксистами, жены и дочери мыли посуду и становились уборщицами в богатых домах. Твердят, что вернулась в страну бывшая власть, — Анатолий недавно увидел такую передачу и хотел поделиться впечатлениями, да и перевети разговор в другое русло.

— Да какая там новая власть! У тех была своя правда, честь, совесть — за царя и Отечество, а у этих одни деньги на уме! Грабители они нашей страны, неужели это наше будущее?! Это, братцы, — банда, которая орудует везде по стране. — Алексей Иванович тоже разнервничался, ему так стало обидно за Валеру и страну, что захотелось завывать.

— Давайте попоём песни наши, — тихо сказал он, и сам первым затянул про соловейку в вишневом саду. Пели долго, почти полночи, вина больше не пили и не разговаривали. Петь на Кубани всегда любили, и на улицах, и в домах. Жаль, что теперь почти не поют, изведётся ведь так народ.

Лишь раз кто-то сказал:

— А как поёт наш Кубанский казачий хор! Он часто к нам в Тамань приезжает. И Лихоносов бывает, у него мама на нашем кладбище похоронена, Тамань он любит.

Кто сказал, я не помню. А про симментальских коров Алексей Иванович в эту Масленую неделю рассказать не успел. Разошлись они по домам уже утром.